

КОНСТАНТИН ФЕДИН



СВИДАНИЕ
С
ЛЕНИНГРАДОМ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКВ
Ленинград — 1945

КОНСТАНТИН ФЕДИН

Л30 $\frac{Г-0}{78a}$

С В И Д А Н И Е
С
Л Е Н И Н Г Р А Д О М



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ
Ленинград — 1945



Оформление худ. А. Ф. Пахомова



ПАРТИЗАНЫ НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Псковские земли — древнейшие славянские земли. История русских поселений в этой стране озер, рек и болот уходит в давность на тысячелетие. Старшие по родам русские князья и первые русские города-республики — Новгород и Псков — защищали в старину этот край от нападений Ливонии и немцев. Почитаемый нами князь Александр Невский был сыном псковитянки и прославлен летописью за разгром рыцарей немецкого ордена Меченосцев в 1242 году на

льду самого большого из псковских озер — на Чудском озере.

История не умирает. История живет. И псковские земли хранят священную память о верности родине наших далеких предков.

Псковичи и ленинградцы в Отечественной войне против гитлеровской Германии прошли путь двух родных братьев и, вспоминая прошлое своей семьи, отстояли от немцев Неву и Ленинград.

В глубоких лесах, среди рек и болот, в треугольнике Псков — Порхов — Луга, действовали более двух лет наши партизаны в тылу немецких войск. Все эти долгие месяцы нещадной борьбы с врагом, в морозы и снежные метели, в весенние разливы, когда вода, словно выстушая из недр почвы, обращала сушу в озера, в любое время года, каждую неделю был у партизан один день, и в этот день — один час, который ожидался ими с нетерпением и любовью. День этот был вторник, час — девять вечера. По вторникам в девять вечера осажденный Ленинград говорил со своими лесными братьями в псковских лесах. В землянках и блиндажах, в бараках и деревен-

ских избах раздавался непоколебимый голос призыва: «Партизаны, держитесь, Ленинград никогда не сдастся, победа идет, победа близка!» Пелись песни, играл оркестр, читали стихи поэты, диктор сообщал новости. Ленинград жил, и суровая, трудная жизнь его питалась только страстной волею — разбить врага!

И вот воля эта восторжествовала: блокада рухнула, немцы отброшены за псковские озера, город распрямылся во весь рост, раскрыв объятия всем, кто помогал ему в обороне, и прежде всего — братьям-партизанам псковских земель.

Есть что-то приподнятое в небольших толпах людей на остановках трамвая в Ленинграде. Еще недавно таких скопления избегали, как избегали выхода на улицы города, который обстреливался немцами из орудий так, как обстреливаются траншеи передовых позиций. Сейчас ленинградцы наслаждаются пребыванием на улицах, они чувствуют себя заново рожденными к городской жизни, они вольны передвигаться, как хотят, когда хотят, вольны стоять на перекрестках, говорить спокойно со знакомыми встречными, переходить неторопливо большие площади

или гулять в саду. Какое счастье, что улица перестала быть запретной, опаснейшей зоной, зоной варварского огня! И можно выпускать на прогулки детей, и караузы ходят опять, под надзором воспитательниц, цепочками, пара за парой, взявшись за руки и болтая друг с другом на своем потешном языке. И все кругом дивятся: откуда взялось столько детей, где они были до сих пор, почему мы их не видали. И все слышат в ответ на свое изумление счастливый внутренний голос: ах, да, ведь блокада снята, улица безопасна от немецких снарядов!

Тем более отрадны были улицы для ленинградца, когда они сделались ареной еще невиданного торжества: в город вступали партизаны, приходившие маршем из лесных глубин области. Вот они — девушки и женщины, старики, безусые юноши и бородатые мужчины, — люди, помогавшие Ленинграду спасти его свободу с оружием, которым беспощадно уничтожались немцы, со знаменами, над которыми произносилась клятва: победить или умереть! Музыкой, пением, барабанами, криками встречал их город. С благодарностью и слезами произ-

поислись речи на митингах, с волнением вручались награды — ордена и медали, заслуженные подвигами на псковских землях, в тылу врага.

День за днем входили через заставы отряды партизан, и победители-горожане приветствовали победителей-лесовиков. Вскоре на каждом шагу попадались люди в папахах и мерлушковых шапках с пришитыми к ним наискосок красными полосками. Среди закаленных этих богатырей находились такие, которые по два года не ночевали под крышей: кровлей их было звездное небо, да грозовые тучи, да хмурая шапка сосны.

Я встретил на городской окраине горстку партизан — человек в пятнадцать. С мешками, сумками, закатанными шинелями через плечо, они веселым приступом атаковали трамвай. Когда кондукторша попросила их взять билеты, они начали переглядываться и шарить по своим карманам. Она терпеливо, но строго ждала. Наконец, они смущенно признались, что денег ни у кого нет. Нашелся смельчак, который сказал:

— Ну, говорят тебе, нет! Вот получим

сразу за два года жалованье, тогда заплатим.

— Сразу мне не надо, за два года, — эпически ответила кондукторша. — Мне давай сейчас по пятнадцать копеек с человека.

— Да ты пойми, откуда у нас деньги, — мы прямо из лесу!

— А все-равно, цена одна, из лесу или еще откуда.

— Да ты пойми, мы — партизаны!

Кондукторша подумала и попрежнему эпически ответила:

— Так и надо говорить: мы есть партизаны. . .

И она отошла на свое место.

В мастерских ленинградских художников я познакомился с командиром Пятой ленинградской партизанской бригады Карицким и комиссаром бригады Сергуниным. Командира лепил скульптор, комиссара писал живописец.

Карицкий улыбнулся и вдруг вспыхнул, когда я спросил его — как ему нравится позировать:

— Воевать легче. . .

Улыбка его была обаятельна молодостью и чистотой, и весь он показался



мне очень красивым — мужской, строгой красотой, которая проявляется во внезапной застенчивости, если речь заходит о чем-то далеком от привычного дела. Я легко понял, как располагал к себе этот человек своих подчиненных. Родом он из донецких шахтеров, к началу войны был кадровым командиром в Красной Армии и добровольно вызвался идти в тыл противника. Там он пробыл два года и три месяца, образовав из красноармейцев и местных жителей бригаду числом в 7200 бойцов, вооружив ее, главным образом, отбитым у немцев оружием. Именно эта бригада и действовала в треугольнике Псков — Порхов — Луга.

Иван Сергунин — другого склада. Он уроженец Павлова, знаменитого города кустарей-металлистов на Оке. Отец его делал бритвы, а ему самому уже пришлось учиться в Военно-политической академии. Он суховат, серьезен, экономен в речи, без порывистости и крутых поворотов. обстоятельно и неторопливо он показывает мне газету, издававшуюся партизанами в лесу. Газета называется «Партизанская месть», размер ее равен

одному листку настольного блок-нота. Но это — настоящая, периодическая газета, напечатанная в походной типографии, с хроникой, информацией и с передовой статьей. Передовая — под названием: «Укреплять органы Народной власти».

— Да, — говорит Сергунин, — мы много сил отдали, чтобы в тылу у немцев упрочить советскую власть. Там, откуда мы выгоним немца, там у нас и хозяйственная работа ведется среди населения, и военная. Крестьяне запасы семенные делали, чтобы — как придет Красная Армия — сразу засеять поля. Видите, вот статья: «Беречь сельхозмашины». Мы потому и продержались так долго, что народ был с нами. У нас в лесу и ремонтные мастерские имелись. Мы даже собрались сами оружие делать. Но тут Красная Армия пришла...

Рассказы Карницкого и Сергунина о партизанских делах красочны, а сами дела не перестают изумлять. Вот один из рассказов.

— Был в одном нашем отряде священник из деревни Видони, шестидесяти восьми лет. Помогал нам в разведке. Две

дочери у него, и тоже с нами работали: одна — разведчицей (отец ее каждый раз благословлял, когда она шла в разведку), другая была метеорологом: погоду из немецкого тыла Красной Армии сообщала. Ну, вот, стало известно, что немцы священника заподозрили, и мы говорим ему, чтобы он бросил разведку. А тут, когда Красная Армия начала наступать, немцы издали приказ об угрозе всего населения. Текста приказа у нас не было. Тогда священник вызвался его раздобыть. «Пойду,—говорит,—в город, спину приказ и принесу». Мы отговаривали, старик не послушался, пошел и не вернулся. Потом, когда мы заняли город Уторгош, узнали, что старика немцы поймали. Начали пытать, вырезали ему крест на груди, он плюнул в лицо немецкому лейтенанту и тот застрелил его из пистолета. Хороший был старик. Дочка его одна с нами в Ленинград пришла, а другая опять в тыл к немцам отправилась.

Из людей, подобных этому старику-отцу и его дочерям, состояло большинство бригады Карницкого и Сергункина. А этот партизанский командир и его

комиссар показались мне наиболее яркими участниками нашей Отечественной войны из тех, которых я до сих пор встретил. Когда я говорил с ними перед мольбертом художника и у станка скульптора, ни Карицкий, ни Сергунин еще не знали, какая награда их ожидает. На днях это стало известно: обоим им присвоено звание — Героя Советского Союза. . .

Ленинградцы пригласили своих гостей на концерт радио-студии. Люди в шапках и папахах явились в тот зал, который они могли видеть только в воображении или во сне. Отсюда, из этой высокой комнаты в сукнах, занавесах и коврах, несся к ним, в недосыгаемые углы псковских земель, голос Ленинграда: «Держитесь, победа близка!» И вот не во сне, а наяву, воочию партизаны видят оперных актеров, музыкантов, хористов из хора моряков-балтийцев и, слушая этих бесконечно-знакомых, почти родных певцов, воображают другую картину: где-то в глубине лесов, в землянке, далеко на запад от псковских озер, сейчас, во вторник, в девять часов вечера, такие же партизаны, прильнув к наушникам, слу-

шают радио-концерт и, как во сне, видят этот зал в сукнах и занавесках, с группой слушателей-партизан, уже соединившихся с Красной Армией. И сердце каждого здесь, в зале, и там, в землянке, бьется в такт песням: держитесь братья, победа близка. . .

После концерта гости радио-студии выходят на главную улицу города — на прославленный Невский проспект, еще затемненный, но дышащий всей грудью, величественный и фантастичный, с разноцветными огнями светофоров, автомобилей и трамваев, — с огнями Ленинграда, во имя которого дрались и отдавали жизнь партизаны псковских земель.

Если исключить из своих наблюдений человека, то есть — главное (потому что без Ленинградца не было бы Ленинграда), то стены города расскажут о пережитом своим молчаливым языком. Завтра рука истории сотрет с домов летопись блокады, но сегодня гордые стены еще говорят с вами застывшими жестами и незалеченными ранами участников войны.

Город в целом стоит, как прежде, его памятники архитектуры сохранились, его воспетые русской поэзией набережные, каналы дышат своим необъяснимым обаянием. Но к прежнему достоинству зданий, мне кажется, прибавилась возвышенность. Они преодолели осаду — самое великое испытание времен.

Я видел десятки европейских городов и жил в восьми столицах. Чувство гармонии, которое мне дается Ленинградом, нигде не повторялось. И сейчас ко мне возвращается давно знакомое ощущение равновесия и сосредоточенности: да, Ленинград остался со своим единством прошлого и настоящего, старый и вечный город.

Но прикоснемся к его ранам.

Во время блокады умер один мой давнишний друг. Я решил навестить его жилье. С улицы я не заметил особых перемен в доме и вошел через туннель ворот во двор.

Плотно осевший чистый снег лежал на дне кубического двора-колодца, и узенькие, в человеческую стону, тропинки были протоптаны в снегу по диагоналям, крест на-крест. В тишине я слышал спокойное журчание воды. Я обернулся и увидел прозрачную струю, бежавшую из крана в снежное углубление, обледенелое по краям. Отсюда брали воду—видны были следы ведер вокруг естественного ледяного водоема. Я прошел тропинкой к входной двери, поднялся на четвертый этаж, нажал кнопку звонка.

Ясно, сильно прозвучал его голос и резко оборвался. Я позвонил еще раз, долго вслушивался в безответное молчание, потом опустился вниз. На дворе я поднял голову и осмотрел высокие фасады дома. Все окна были заколочены досками и фанерой. Я рассчитал, где должно находиться жилище, которое не отозвалось на мои звонки. Окна его были закрыты глухими ставнями. Вдруг одна ставня начала медленно отворяться. Я ждал, что кто-нибудь выглянет из окна. Но за ставней открылась черная пустота: ветер гулял по квартире, и сквозняк лениво распахнул ставню.

Я уже собрался уходить, когда на дворе появилась девочка. Оказалось, раненный дом не был брошен, кое-где еще ютились люди, и девочка проводила меня к своей старшей сестре.

В тесной кухне женщина разводила в плите огонь, его вялый свет чуть озарял ее строгое лицо. На мои расспросы она отвечала одной фразой:

— Это все было той первой зимой...

— А вы не знаете, что случилось с библиотекой моего друга? У него была хорошая библиотека.

— Вы про книги? Может быть, которые ценные — взяли жильцы. А вообще ведь книги опасны в пожарном отношении. Вряд ли что сохранилось после той первой зимы.

И женщина припнула к топке, раздувая огонь — самое драгоценное достояние человеческого жилья.

Покидая дом, я еще раз поднял голову и взглянул на распахнутую ставню. Она слабо качнулась, словно бывшее обиталище друга в последний раз приветствовало меня, как могло...

У домов, стен, вещей — то же разнообразие судеб, что у людей. Я встретил дочь известного среди коллекционеров собирателя русского фарфора.

— Ну, как ваш фарфор?

— Цел и невредим.

— До последней фигурки?

— До последней фигурки. И даже ничего с места не сдвинулось.

— Как? Вы не укладывали коллекции в ящики?

— Зачем? От попадания не спасет никакой ящик. Мы верим в судьбу...

Иногда кажется, что слово «судьба» — не что иное, как псевдоним оптимизма.

Верят только в хорошую судьбу. А вера в хорошее побеждает.

Я был в одном районном совете, в центре города. Он занимает барский особняк — из тех дворцовых богатств, какими славился старый Петербург. Роскошная лестница ведет из вестибюля в зал, который служит приемной. Все вокруг наполнено наивным кокетством лепки, росписью и багетами излюбленного восемнадцатым веком рококо. Кабинет председателя хранит неприкосновенные гобелены. Полы из мозаичного паркета бережно прикрыты коврами. Идет размеренная, оживленная работа, памятная этим стенам по мирному времени. — доклады, приемы, совещания.

И вдруг, выйдя на улицу, я вижу другой флигель дворца. Он разрушен авиабомбой. Стены его исковерканы, на их остатках висят ленты и клочья шелковых гобеленов.

— Судьба. — улыбнувшись, сказал мне председатель Совета, и я понял, что он думает о той судьбе, которая вывела город из испытаний в новую жизнь, о том крыле дворца, который уцелел рядом с

тем, который разрушен. Это была улыбка оптимизма.

Еще не сочтены раны, нанесенные великим стенам на протяжении двадцати семи месяцев блокады. Подсчеты разрушений займут обширные, тяжелые книги. Это будут обвинительные акты против кровожадных истязателей города, бивших из дальнобойных орудий по прохожим на улицах, по детям и женщинам в жилых домах, по трамваям с пассажирами, по госпиталям с больными. Суд истории предъявит эти акты немцам. Но еще не написанная книга обвинений хранится ленинградцем в его душе, и огненные слова книги вспыхивают в ней, едва он видит незабываемую надпись на стене — белыми буквами по синему полю:

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Тысячи таких надписей словно ведут за собой по стенам нескончаемые вереницы плакатов, листовок, афиш, цветных литографий. Множество предупреждений об опасности пожаров рассеяны не только в картинных изображениях, но и в макетах. Я видел около пожарной части макет, показывающий правильную клад-

ку временной печурки и примерную проводку железных труб. Раскрашенные по трафарету рисунки учат обращению с лампами, керосинками, печами, светильниками. На каждой двери начертаны лаконичные сообщения: «Есть ход на чердак», или «Нет хода на чердак». На огромных плакатах разъясняются правила тушения зажигательных бомб. К паркетам набережных приставлены вывески, указывающие проруби-водоемы в каналах и реках.

Весь быт блокадной эпохи встает перед вами за этими стенными летописями. И понемногу разворачивается необъятный масштаб организации сопротивления врагу, масштаб титанический, небывалый. Миллионы усилий были сложены в одно целое и образовали волю, выраженную, пожалуй, ярче всего огромным плакатом, стоящим в центре Ленинграда, поблизости от Публичной библиотеки: на плакате висит молодой человек, широко и прочно расставивший ноги, с автоматом в руке, и на плакате начертано:

«Русский народ никогда не будет стоять на коленях».

Многие раны города останавливали мое

внимание, и я подолгу думал о них. Но одна малоприметная картина особенно запечатлелась у меня в памяти сердца.

Есть в Ленинграде церковь Пантелеймона. Так как она перестроена из деревянной петровского времени, то на ней, впоследствии, были увековечены даты эпохи Петра — двумя мемориальными мраморными досками на наружной стене, как сказано золотом букв: «В благодарение богу за дарованные нам морские победы» при Гангуте в 1714 году и Гренгамне в 1720 году. В первой из этих битв Петр разбил шведскую эскадру, взяв в плен ее командира, во второй — русский гребной флот одержал победу над шведским парусным.

Артиллерийский снаряд гитлеровцев нанес мрамору досок глубокие щербины. Мрамор искрошен и поцарапан осколками. Сама церковь тоже пострадала. Но памятник сохранился наперекор вражескому беспощадному огню.

Немцы повсюду, откуда их изгоняет советское оружие, превращают в руины русские памятники. Они хотели бы умертвить нашу историю, стереть в вос-

поминаниях нашего народа дела и славу отцов.

Но нашу историю умертвить нельзя. Она живет, и Ленинград продолжает свершать ее, глядя вперед прямым, бесстрашным взглядом. Враг угрожал отнять у него прошлое, лишить его настоящего и будущего. Ленинград поверг врага.

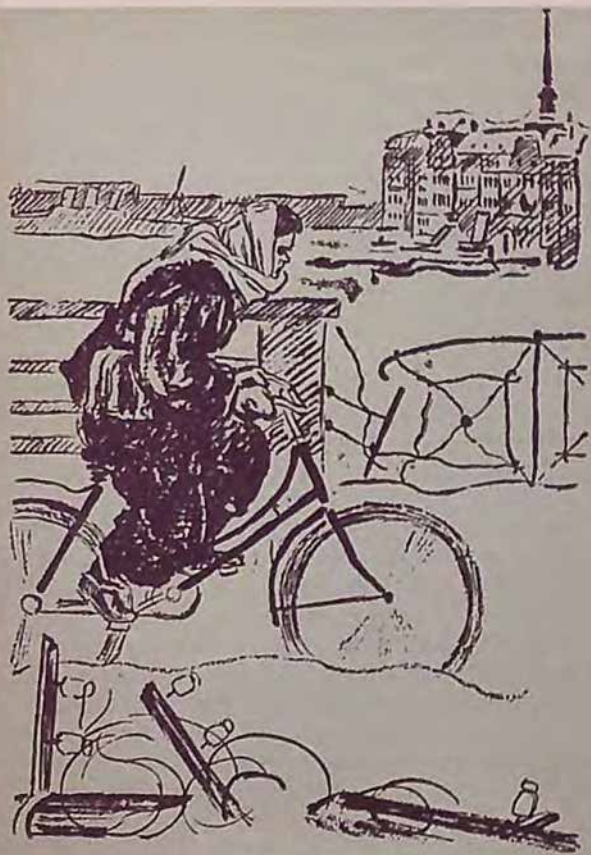
Даже стены этого города, как живые, провозглашают: я был, есть и буду!

Город воды, каналов, мостов — город невских островов в тягостные годы блокады слился в единый, нераздельный остров. Берега острова были неприступны — орды немцев не могли их залить. Ощущение островитянина, которого отделяет от прочего мира стихия, у ленинградца было полным, и он стал называть отрезанную от него фронтом страну, как островитянин — материк: «Большой землей».

На «Большую землю» ленинградцу попасть было немислимо. За воссоединение с нею он должен был биться, полагаясь, прежде всего, на свои силы подобно защитнику осажденной крепости. И, собирая силы, он обратил на борьбу с блокадой каждый атом города-острова.

Исчезла карамель в пестрых бумажках с названиями «Мечта» и «Лотос», «Альпинист» и «Сливочная». Женщинами забыта была коробка с любимым набором духов и одеколона, мыла и пудры под ленинградской этикеткой «Белая ночь». Еще вчера мирные машины — сегодня начали выпускать осколочные гранаты из сталистого чугуна, взрыватели, запалы, динамитный глицерин, реактивы для противохимической обороны. В производственных планах кондитерских предприятий рубрика шоколада заменилась концентратами супов из гороха, чечевицы, сои. Лютый союзник врага — голод потребовал предельной изобретательности в борьбе с собой и сейчас, когда легендарный период блокады кажется сном, отчеты столовых, ресторанов, хлебозаводов заговорили языком, бесстрастие которого будет положено историком в основу ленинградского эпоса.

Сейчас городом открыта небывалая по историко-военному и психологическому значению выставка — «Героическая оборона Ленинграда». Потрясающим документом выставки является отдел «Голодная блокада Ленинграда», сосредоточив-



ний в себе экспонаты и статистические материалы, которые рисуют условия жизни ленинградца в самую тяжелую пору. Я рассматривал сухие колонки цифр, и сердце мое томилось болью за человека, его страдания, сокрытые этими цифрами.

Вот состав хлеба, который выдавался в зиму 1941—42 года жителям Ленинграда в количестве 125 граммов в день на человека: дефектная ржаная мука — 50%, солод и жмыха — по 10%, соевая мука, обойная пыль, отруби — по 5%, целлюлоза 15%. Вот меню крупнейших столовых города: суп дрожжевой, содержащий в одной порции на человека дрожжей — 50 граммов, картофеля — 7 граммов, соли — 5 граммов, суп из альбумина, содержащий в порции на человека альбумина — 10 граммов, соли — 5 граммов, лаврового листа — 4 грамма. По данным Главного управления ленинградских столовых Народного комиссариата торговли, общий вес всех продуктов, отпускавшихся столовыми на едока в течение месяца, равнялся в январе 1942 года — 920 граммам. Сюда входили жиры, мясо, крупы, кондитерские изделия. Это был худший месяц блокады. С февраля норма была

удвоена, то есть доведена до 60 граммов в день. Среди заменителей продуктов в то время фигурировали мука из кокосовой и хлопковой жмыхи, желатин, корьевая мука, столярный клей.

Человек, питавшийся такими продуктами, в таких рационах, на протяжении такого длительного времени, человек, живший без топлива, в неслыханные даже у нас, в России, морозы, продолжал трудиться, обстреливаемый непрерывным артиллерийским огнем врага.

Я был на одном заводе, принимавшем лобовые удары немецкой дальнобойной артиллерии. На его просторную территорию за время блокады упало более 1700 снарядов. Был день, когда осевшие из-за бесплодности своих усилий немцы обрушили на рабочие районы города огромную массу огня. Тогда на один этот завод упало больше двух сотен фугасных бомб и множество бомб термитных. Я прошел несколько цехов завода и всюду видел точную налаженность работы. О былых ранах завода я мог судить только по фотографиям, которые мне показал директор. Главный инженер завода — человек уютного спокойствия, в ме-

ховой курточке домашнего покроя, говорил мне тихим голосом и с улыбкой удивления о пережитом:

— После обстрела выйдешь, кажется— все пропало. Даже руки опустятся. А к концу дня — цеха уже в порядке и работа идет везде.

— Великая сила — народ, — поддержал его директор завода. — Под огнем немца мы построили новую котельную. Одни кирпичи разлетались в пыль и крошку, другие складывались в новую стену. Инженеры набирали учеников, и сами становились за станки. Из этих учеников нынче вышли квалифицированные рабочие. Про них действительно скажешь — закалены огнем. Некоторые машины мы с ними теперь изготавливаем в два с половиной раза быстрее, чем до войны.

— Да, — снова, как будто удивляясь, сказал инженер, — нам теперь ничего не остается, как расти. Иначе скажут: что же это, с блокадой справились, а программу не увеличиваете? Разве для ленинградца есть невозможное?..

И правда, иногда кажется, что для человека, пережившего блокаду, не суще-

ствуует невозможного. Ленинградец преодолел не только жестокость физических испытаний, он выдержал нещадно-суровую нравственную школу.

Молодая женщина рассказала мне такую историю.

— Я бежала из Петергофа, когда к нему подступили немцы. И здесь, в Ленинграде, я пошла в почтальоны. Это был не простой и не легкий труд во время блокады, вы представляете себе. Я разносила телеграммы. Ходить по обмерзшим лестницам, поднимаясь то на шестой, то на восьмой этаж, — чего я только ни видала, — каких людей, — и чего я только ни приносила людям своими телеграммами! Както я пришла в одну квартиру, постучала — не отвечают, смотрю — дверь не заперта. Вошла, окликнула — кто дома? Молчание. Стала заглядывать в комнаты, везде пусто, но видно, что люди живут, или, по крайней мере, жили. Наконец, слышу чей-то слабый голос. Отворяю дверь, на кровати — женщина. Подхожу к ней, вижу — дело плохо. «Больны?» — спрашиваю. «Нет, — говорит, — ослабла, легла, да, видно, больше не встану». Начинаю ее расспрашивать, оказывается — телеграм-

ма, которую я принесла, адресована ей. «Распечатайте, — говорит, — прочитайте, может, от моей дочки, дочку, — говорит, — мою эвакуировали и не знаю я, не умерла ли она в дороге». И, представьте, какое счастье: дочь телеграфирует ей, что жива, здорова, хорошо устроилась в деревне. Страшно разволновалась больная, заплакала: «Спасибо, — говорит, — вы мне жизнь принесли, теперь я могу спокойно умереть». Тут я на нее крикнула: «Как — умереть! Вы же говорите, что я вам жизнь принесла, а сами умирать собираетесь!» — «Силы у меня, — говорит, — уходят последние, ослабла». — «А вы не смейте лежать, — отвечаю ей, — нельзя лежать. Видите, я вот хожу с телеграммами, этим и держусь, а буду лежать — так же ослабну, как вы. Вставайте сейчас же, делайте что-нибудь, вот возьмите щетку, подметите комнату!» И с этими словами поднимаю ее, буквально ставлю на ноги, беру из угла щетку и даю ей: «Ну, — говорю, — начинайте мести!». Она плачет: «Чем, — говорит, — вас отблагодарить, не курите ли вы, — спрашивает, — у меня хороший табачок есть». Я обрадовалась, свернула

папиросу, задымила и говорю: «Дайте мне слово, что не будете лежать». Она дала слово. А я пошла разносить телеграммы. Она так и осталась стоять, опершись на щетку, все лицо в слезах... Ну, вот, прошло два года, и я давно бросила свое блокадное занятие. Иду недавно по улице, как раз уборка снега шла, и меня вдруг останавливает женщина-дворник. Смотрит на меня долго и говорит: «Извините за вопрос, не вы ли в нашем районе в первую блокадную зиму телеграммы разносили?» — «Да, — отвечаю, — я». Она ко мне кидается: «Позвольте, — говорит, — поцеловать вас! Вы меня не узнаете? Помните, — говорит, — вы меня заставили встать на ноги с кровати». Тут я вспомнила. «Как же, — отвечаю, — вы меня еще табачком тогда угостили!» — «Ну, вот, — говорит, — кому — что, кому табачок, а кому — жизнь: ведь вы мне жизнь спасли. Я тогда, — говорит, — как вы ушли, начала комнату прибирать, и так с того дня из последних сил перемогалась, все чего-нибудь делала, чтобы не лежать, а потом вот и на работу нанялась, дворничью. Кабы вы меня тогда не подняли, так бы я и ото-

шла на тот свет». — «А дочка, — спрашиваю, — у вас ведь дочка есть?» — «Как же, — говорит, — она скоро возвращается из эвакуации. Позвольте ваш адресок, — как она приедет, так сейчас и зайдет к вам — поблагодарить, что вы меня от смерти избавили». Обняла она меня: «Спасибо», — говорит, поцеловались мы. «Спасибо и вам, — говорю я, — за табачок. Хороший был табачок, никогда не забуду!..»

Есть что-то фронтовое, солдатское в отношениях ленинградцев друг к другу. Они прошли вместе сквозь голод, нужду и огонь и знают великую цену суровости и нежности человеческого сердца. И поэтому так понятна была радость освобождения города от долгой, жестокой блокады.

Я провел с ленинградцами праздничный вечер, устроенный в Выборгском Доме Культуры для молодежи — первый открытый вечер за все время войны. Этим торжественным актом ознаменовалось полное воссоединение города с «Большой землей». Студенты и студентки высших школ, не прекращавших занятий в течение блокады — кораблестрои-

тели, педагоги, инженеры транспорта, а вместе с ними — молодые летчики и танкисты, офицеры Красной Армии — около трех тысяч человек собрались под одной кровлей. Я видел их лица, слышал рокот голосов, веселый смех. Они как будто не верили, что возможна такая жизнь — шумная, залитая светом электричества, с музыкой, танцами, пением целую ночь напролет. Они глядели друг на друга, точно не узнавая самих себя: «Неужели это — мы, люди боевых ночей Ленинграда, бойцы осажденного острова?» — «Да, да, — отвечали они себе сверканьем молодых своих глаз, — страшный сон позади, утро приветствует наше пробуждение. Времена блокады отошли в прошлое безвозвратно».

РАССКАЗ О ДВОРЦЕ

Перед своим отъездом из Москвы я встретил композитора Попова, который тяжело больным был эвакуирован из осажденного Ленинграда, поправился и нынче снова сочиняет музыку. Мы были с ним соседями, когда жили в городе Пушкине, он — в так называемом Полуциркуле, я — в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.

— Знаете, — сказал мне Попов, — если будете в Пушкине, поглядите, что осталось от моего жилья. Говорят, немцы утащили оба моих рояля к себе в блиндажи, на позиции. Может быть, найдутся какие следы?

Я обещал...

Лет десять назад я занял летнюю квартиру в жилом Зубовском флигеле



с той стороны, которая обращена в парк. Из окон был виден фонтан белого мрамора, чудесные по живописному подбору расцветок деревья, кусты старых подстриженных сиреней, веселые дорожки между газонов. Мне показалось, что в отдохновенном этом углу недостает цветов, и я решил поставить на балконе ящик с душистым горошком и петуниями. Одному из хранителей дворца, строгой жемчужнице, не понравилась моя затея.

— Надо убрать ящик, — заметила она, — он портит фасад. На другом балконе ящика, видите, нет? Это асимметрично и нарушает стройность архитектурных линий.

Она была права, в сущности, хотя речь шла не о главных дворцовых фасадах, и только строгий глаз мог осудить появление чужеродной общему виду детали. Но когда цветы распустились, мне стало жалко убрать ящик, и сама хранительница с ним примирилась, вероятно, потому, что в цветах есть большая сила убеждения, они уместны даже там, где их не ожидают встретить.

Царскосельские парки созданы для того, чтобы человек покорялся природе,

которой рука художника помогла раскрыть все свои волшебные свойства в одном легко обозримом месте. Тот, кто прошел по этим аллеям в осенний день, когда пруды уноенно повторяют в своих неподвижных стеклах все краски мира и на мостах через каналы лежат первые опавшие листья клена, тот запомнит этот день, как счастливейший в жизни. У меня таких дней было много, я накопил их, как богач копил драгоценности, и в моей памяти, не умирая, хранятся червонные купола дворцовой церкви, сияющие в закатный час и в тот же час, тем же червонным золотом облитые осенние парки.

Почаши, когда поперек аллеи ложились черные тени двухсотлетних екатерининских лип и окаменелые парки состязались с музейным молчанием дворцов, мне казалось, что камни зданий и мрамор статуй неразъемлемо окованы поясами аллеи, и я блуждал, точно лунатик, и тишина была для меня слаще всех земных звуков.

Все пронизано здесь историей, ее дыхание явственно ощущаешь, и вдруг, когда увидишь из-за дерева какой-ни-

будь обелиск или какую-нибудь колонну, живой голос Пушкина, не отделимый от Царского Села, раздастся у тебя в ушах:

Садятся призраки героев

У посвященных им столпов...

О призраках героев, бродя по паркам, я часто говорил с соседом — композитором Поповым. Идешь ночью мимо приземистого Полуциркуля, приближаешься к позолоченным кружевным воротам дворца, слышишь — рояль. Если Попов не сочинял, то играл классику, и свободный удар его пальцев быстро уводил меня в стихию, которая однажды возникла в прошлом и вечно живет в будущем.

В маленькой комнате рояль занимал половину всей площади, а в смежной комнате, такой же маленькой, стоял другой рояль — жены композитора, тоже пианистки, и стена между комнат была затянута мягкой обивкой, чтобы музыканты не слишком мешали друг другу. Перед низким окном простирался парадный двор и стоял дворец, протяженный в длину на триста метров, с его колоннами и согбенными под их тяжестью атлантами, весь в лепке орнамента и вензе-



лей — пышное празднично-веселящее создание Растрелли. Музыка как будто объясняла его возникновение, переплеталась с его каменной гармонией, жила одной с ним природой.

Потом, оставив рояль, мы шли бродить, и разговор продолжал мысли, возбужденные музыкой.

Однажды мы долго стояли у Церковного флигеля дворца, под большим деревом, протянувшим сильный, прямой сук к невысокой крыше Полуциркуля, и в тени дерева говорили о русской и немецкой музыке, о единстве и столкновениях культур, о связях и различиях великих человеческих целей. Я помню, как назывались в тишине имена Михаила Глинки, Мусоргского, Скрябина, Себастьяна Баха, Иосифа Гайдна, классическую форму которого не затмили Бетховен и Моцарт. Это был хороший разговор. Его питал город искусств, город муз — Пушкин...

И вот два года этот город был во власти немцев. И я пришел через обожженную огнем и кровью землю, пришел в город муз, чтобы увидеть, как обошелся с ним кратковременный его властелин.

Все, что хранилось великой кровлей

дворца — исчезло. Исчезла и сама кровля. Стены протяженностью в триста метров, как грандиозный старый издырявленный сундук без крышки, содержат в себе обломки убранств полов и потолков, обугленные пожарами кучи сора. Нет и следов картин, мебели, нет и следов сотен зеркал и жиронолей, тысяч орнаментальных украшений из мраморов, серебра, фарфора, золоченых багетов. Все, что немец успел похитить, он похитил. Все, что не успел — предал топору. Остатки тканей на уцелевших простенках, остатки бронзы на сорванных дверях и окнах только утверждают, что погром произведен тотальный и что здесь воздвигнута вечная память немецкому позору. И точно для того, чтобы весь мир видел, что здесь хозяйничал вор, мрачно чернеют когда-то сверкавшие купола и кресты Церковного флигеля: золото слизано с них тщательно и жадно.

Я стал обходить дворец, подолгу вглядываясь в его смертельные раны. Сквозь зияющие оконные проемы я посмотрел в комнаты Zubовского флигеля, где жил, кажется, целую вечность назад. Исковерканные массы каких-то нагромождений

тянулись там к небу, будто взывая о возмездии.

И вдруг я увидел на балконе цветочный ящик. Сизый от времени, он висел на прежнем месте. Взрывы, сотрясения, огонь, бушевавшие внутри дворца, не тронули его своим неистовством, он остался неприкосновенным. Тогда в моей памяти с живостью возник укоризненный голос:

— Надо убрать ящик. Он портит фасад. На другом балконе ящика нет. Это асимметрично!

Да, как и прежде, на другом балконе не было никакого ящика. В этой асимметрии, хотя и мало заметной, был виноват я, и, может быть, мне следовало в свое время послушаться женщину — строгого хранителя дворца. Теперь было странно, что никчемный ящик оказался единственным предметом, уцелевшим во всем дворце после немцев. С горечью удивляясь этому, я двинулся дальше в свой круговой обход.

Разгромленный Полуциркуль, как согнутая рука скелета, все еще обнимал Парадный двор. Солнце освещало снеговые сугробы на месте бывших комнат и

коридоров. Вот — груды камня и кровельного железа, обнаженные от снега вольным ветром, провалившиеся в коробку здания. Здесь я слушал музыку, глядя через окно на застывшие светотени дворцового фасада, отсюда отправлялись мы в наши блуждания по аллеям парков — я и мой сосед, композитор.

Я обернулся и сквозь поломанную решетку взглянул на парк. Некогда дружные толпы деревьев рассеялись, и в широких просветах пустот, вместо лип, кленов и вязов, росших здесь веками, торчали пни, валялись перепиленные стволы и обрубки сучьев.

И я пошел дальше и скоро кончил свой обход, вернувшись к Церковному флигелю. Там, у подъезда, я вспомнил ночной разговор с композитором, после музыки — о единстве культур, о связях великих человеческих целей, вспомнил имена, которые тогда назывались, имена Мусоргского и Скрябина, Баха и Гайдна. Я вспомнил, что мы стояли тогда под большим деревом, протянувшим сильный, прямой сук к невысокой крыше Полуциркуля. Я осмотрелся и узнал это дерево. Я узнал его и увидел, что прямой,

сильный его сук оголен от мелких веток и с него свешиваются четыре веревки, слегка расплетенные на концах и чуть-чуть колеблемые слабым ветром. Я не двинулся и не отрывал глаз от веревок. Мне казалось, своим мерным покачиванием они говорили о себе все, что я должен был знать. Но я чего-то не понимал и не мог от них оторваться. Тогда неожиданно раздался спокойный голос:

— Интересуетесь, гражданин?

Позади меня стоял милиционер.

— Немецкая виселица, — пояснил он. — Немец тут четверых советских граждан повесил. Наши пришли — сняли.

Я молчал. Он тоже помолчал, потом спросил:

— Дворец осматривать будете? Или уже познакомились?

— Познакомился, — ответил я, — познакомился.

Мы еще немного помолчали и расстались.

Когда я опять встречу композитора Попова, я прочитаю ему этот рассказ.

ДЕНЬ НЕМЦА В ГАТЧИНЕ

В городе Гатчине немцы оставили по-
чтительно - нетронутым памятник
российскому императору Павлу I. Они
не коснулись его своей всеразрушаю-
щей рукой. Как прежде, бронзовый
Павел стоит, подбоченясь, в мундире
прусского образца и в треуголке, бросая
вычурную тень на площадь перед дворцом.

Покровитель иезуитов, гротесмейстер
Мальтийского ордена масонов, Павел был
поклонником прусского короля Фрид-
риха II. Свое восшествие на престол он
запечатлел двумя актами: короновал рус-
ской короной своего мертвого отца
Петра III — любителя прусских и гол-
штинских порядков и почитателя того же
Фридриха — и дал отставку славному
российскому фельдмаршалу Суворову. Он

торопился онемечить Россию, доделать дело родителя — голштинца Карла-Петра-Ульриха, который оказал великое одолжение побитому Фридриху, возвратив ему все завоевания России.

Для немецких фашистов Павел I — приятный выразитель солдафонского духа их обожаемого идола Фридриха. Это, так сказать, «свой» — проводник немецких планов на Востоке, нечто вроде прусского наместника у кормила бывлой России. Молясь по утрам на своего «великого Фрица», немцы кладут поклон и симпатичной им памяти Павла. Поэтому в Гатчине они оставили неприкосновенным его монумент...

Культура не строит свое отношение к историческим памятникам по признаку симпатии и антипатии. Наша революция сохраняла все царские дворцы вокруг Ленинграда. Она сохраняла и Гатчинский замок, в окнах которого витали тени Павла I и Николая I, Александра II и Александра III. Гатчина бывала излюбленной резиденцией Романовых в самые мрачные периоды господства этой династии над Россией. Гатчинский дворец хмур, тяжел и бесстрастен. Это имен-

но замок — неподимый холодный, серый. Никакой другой императорский дворец не заключал в себе так много самовластной сущности русской монархии. И потому гатчинский замок был незаменимым материальным памятником нашей истории. Прошлое не только глядело с высоты двух его башен, не только таилось по его галлерейам, лестницам, залам, — нет, оно само объяснялось всем духом памятника.

Вот я поднимаюсь, с каждым шагом все медленнее, по винтовой лестнице на замковую башню. С вершины ее привольно раскрывается английский парк и заключенные в его неправильные планы озера, холмы, острова. Стоячие воды необъяснимо богаты красками. В одном озере они легки и жизнерадостны, как будто предвосхищают изумрудные, перламутровые, небесные переливы наступающей весны. В другом — они печальны и скорбны, точно берега озера никогда не видели ни света, ни пестрой листвы, ни серебряного облачка. Они и названы цветными именами: «Белое озеро», «Черное озеро», «Глухое озеро».

Я опускаю глаза и прямо под своими ногами вижу законченно-симметричный

план замка: главный корпус с башнями, на одной из которых я нахожусь, два полуциркуля и два грандиозных каре — Арсенальное и Кухонное.

Но я вижу именно план, только план замка, обозначенный наружными стенами, а внутри стен, там, где обреталось все драгоценное содержание исторического дворца, глаз мой не находит ничего, кроме хаотических гор железного мусора, изогнутых стальных рельсов и каменных обломков. Вон громоздятся закопченные до черна недогоревшие балки. На этом месте была пятиугольная Башенная комната, в которой сто сорок лет хранились личные вещи Павла, рисовавшие образ жизни мистика, солдата, любителя искусств и парадов. Вон зияет провал, заглатывающий остатки порфировой лестницы. Она вела к Ружейному арсеналу, в галлерее которого размещались, с пола до потолка, великолепные коллекции оружия — холодного и огнестрельного — всех государств Европы и Востока, начиная с XVI века. Вон просвечивают сквозь кучу обломков следы росписи, — это были создания Бренны, украсившего стены Тронной комнаты во-

лочеными орнаментами и гобеленами, которые являлись гордостью Гатчины. Велико было различие между сверканием внутреннего убранства замка и его неприступно-хмурым внешним видом, и в этом была особенность царского поместья-усадьбы в Гатчине.

Но обо всех богатствах гатчинских коллекций и убранств отныне мы будем говорить только в прошедшем времени: это было, но этого нет. Гитлеровская армия изувечила великолепный памятник русской истории. Несмотря на быстроту, с какой немцы бежали из города от Красной Армии, они нашли время закончить продолжавшееся два года разграбление замка и поджечь его. Один из богатейших дворцов Евроны сгорел.

Мое восхождение на башню дало мне много. Когда я пробирался горами камня, баррикадами из согнутых в крючья железных стропил, я лицезрел следы пребывания во дворце офицерства и солдат немецких авиационных частей, стоявших в Гатчине. Не все немецкие следы исчезли под развалинами. Некоторые уцелели в нишах стен, под лестницами, под сводами коридоров, куда пламя не

нашло доступа. Тут валялись осколки фарфоровых ваз, куски мраморных изваяний, полуразбитые деревянные ящики, ключья упаковочной стружки, стекло, проволока, гвозди, бумага. На ящичных досках повторялся адрес Гатчины и адреса отправителей. Ящики слались в Гатчинский дворец не военными заводами, и товары, которые прибывали сюда, были не военным снаряжением и не боеприпасами. Нет, отправителями были винодельческие фирмы и товаром были вина.

Отсюда на замковый плац, вдоль Полуциркуля и Арсенального каре, тянулся нескончаемый склад винных бутылок. Это было все, что немцы оставили после себя взамен дворцовых собраний живописи и скульптуры, оружия и фарфора. Вся подневольная немцам Европа слала в Гатчину свой ясак: Венгрия — свой токай, Франция — шампанское, Италия — бермут, Испания — малагу, Голландия — амстердамские ликеры.

Тогда перед моим взором возник будничнейший день немца в Гатчине.

Я увидел, как желтоволосый лейтенант с проборчиком, приклеенным к темени блестящей помадой, сняв мундир и

немного ослабив розовые подтяжки, укладывает в ящик из-под мозельвейна восточные пистолеты. Он долго выбирал хорошую пару пистолетов на стенах Арсенала, чтобы отправить подарок домой. Наконец, он облюбовал превосходные экземпляры, отделанные цветным золотом, перламутром и кораллами. И он тщательно обматывает рукоятку бумагой, чтобы в пути не поцарапалась бесценная инкрустация, расстилает на дне ящика стружку и поет себе под нос привычную песенку:

Eine Tu, eine Ru,
Eine Tuturu-tutu,
Eine Tu-ute,
Eine Ru-ut:...

К сожалению, он должен прервать мирное занятие: его вызывают на аэродром. Он показывает денщику, как следует окончить упаковку ящика и садится в мотоцикл.

На аэродроме он получает приказ вылететь в разведку. Он отрывается от земли. В голове его еще мелькают обрывки песенки — «Eine Tu-te, eine Ru-te». Он беспокоится — не поцарапает ли денщик рукоятки пистолетов гвоздями. Но надо

набирать высоту — виден Ленинград. Виден не только Ленинград, виден какой-то самолет. Возможно — советский. Да, конечно, Советский истребитель прорвался через облака и мчится навстречу. Надо принимать удар. Уходить поздно. Лейтенант прячется за облака. Истребитель оказывается над ним. Лейтенант ныряет вниз и поворачивает назад. Истребитель опять летит навстречу и открывает бой. У лейтенанта ноет рука. С подачей бензина плохо. «Чорт побери, неужели — конец? Надо уходить. Неужели ящик с pistolетами останется в Гатчине? Какие кораллы, какое золото! Ходу, ходу! Вот они, спасительные облака. Ходу! Вот уже гатчинский аэродром. Вот немецкие машины. Чертовски ноет рука! Внимание. К посадке, к посадке. Внимание. Земля. Pistolеты спасены. Надо сегодня же отправлять ящик в Германию. Пробита пулей рука. Пробит один бак на машине. Чорт! Eine Tu, eine Ru, eine Tutu-tutu...»

Вечером лейтенант сидит опять во дворце. Правая рука его забинтована. Желтые волосы туго припомажены к темени и блестят. Он держит в левой руке

бокал итальянского чинцано. Какой букет у этого вермута! Как он золотист! Соки Европы, соки Европы, отжатые гитлеровской армией. У лейтенанта мутится взгляд.

Лейтенант смотрит за окно. Выходит луна. Тень Павла едва намечается на снежном поле плаца. «Да, Павел, — думает лейтенант, — он как раз действовал так, как мы, немцы. Он говорил: «девять убей — десятого выучи». Это — как раз наш новый порядок... Не выпить ли немного рейнвейна? Или, может быть, французского деми-сека? Французы, эти каналы, великолепно понимают в вине. А пистолеты, пистолеты уже поехали в Германию...». Тень Павла растет и все больше чернеет на снегу. У лейтенанта рябит в глазах. Он дремлет. Он хранит...

Так проводило время гитлеровское офицерство в гатчинском дворце. И здесь нет ни капли фантазии: сами немцы оставленными в замке следями рассказали о себе подробно и бесстыдно.

Красная Армия выбросила их из Гатчины. Она выбросит их отовсюду, где им не следует быть. Немцы доживают последние дни в чужих дворцах.

Давным-давно, кажется — бесконечно давно, когда немцы еще вели свой дикий обстрел жилых кварталов Ленинграда, мне вручили самое удивительное приглашение из всех, которые я когда-либо получал. На литографированном билете с натюрмортом сообщалось, что Управление по делам искусств при Ленинградском Совете и Всероссийская Академия Художеств устраивают на квартире художника В. М. Конашевича осмотр его работ и что после осмотра художник прочитает две главы из своих воспоминаний. В ту минуту я много дал бы, чтобы очутиться в Ленинграде и последовать приглашению этого билетика с букетом цветов.

В темном, промерзшем городе, среди

вспышек разрывов, выбирая те тротуары, которые «при артобстреле наименее опасны», несколько художников и любителей искусства торопятся на Моховую улицу. В маленькой квартире, ставшей прибежищем Конашевича, после того, как он должен был бежать из занятого немцами Павловска, горстка людей рассматривает пейзажи, книжные иллюстрации, зарисовки блокадного быта и героики, сделанные замечательным мастером. Грохот обстрела то приближается, то пропадает где-то во мраке, отделенном непроницаемыми занавесками на окнах. Листы акварелей медленно раскладываются на рояле. Красочными отражениями проходят перед зрителями события, участниками которых эти зрители были и продолжают быть там, за пределами комнаты художника, и здесь, в этой комнате, потому что события не останавливаются ни на одну долю секунды, бой идет, люди отдают свой труд, свое искусство, свою кровь защите Ленинграда.

Мне пришлось видеть десятки работ ленинградских художников, посвященных эпохее блокады и у меня нет сомнения, что будущее получит памятники,

достойные и как художественные воплощения пережитого и как свидетельские показания об исторических фактах. Собирая иногда последние угасающие силы, ленинградские художники не выпускали из рук кисти. Вода замерзала в их жилищах, они отогревали ее на убогих очагах, чтобы развести акварель. Масляные краски стыли. Они размягчали тюбики своим дыханием, чтобы положить на полотно нужный мазок. Сейчас эти художники носят на груди зеленые ленточки медалей «За оборону Ленинграда». И они ревниво берегут память о друзьях, которые, проявив самоотверженную любовь к своему искусству и своему городу, отдали им свою жизнь.

Патриотизм ленинградцев изумляет даже тогда, когда хорошо знаешь этот особый род патриотов. Город, со времен Петра I обладавший необычайно последовательной традицией в искусстве, литературе, науке, промышленности, за годы Отечественной войны прошел испытание огнем. Это — не поэтический образ: огнем опален каждый его камень, каждый его житель.

Распространенное представление о рус-

ском характере, исполненном широты воображения, горячности, которая соединяется с мечтательностью и с пренебрежением внешними формами — такое представление о русской натуре ленинградец дополнял и, по виду, даже опровергал устойчивостью вкусов, предпочтением строгих форм, дисциплиной, исполнительностью, почти педантизмом. Он, конечно, тоже был русской натурой, однако, он доказывал, что рядом с широтой этой натуре свойственна целеустремленность, рядом с мечтательностью — самодисциплина, рядом с горячностью — постоянство привязанностей. Ленинградец расширял своею сущностью понятие о русском. Многого нельзя было бы уяснить в нашем характере без того, чем проявился он в петербургской, ленинградской культурно-исторической оправе.

Существо ленинградского патриотизма раскрылось в том, что он оказался глубоко русским и в то же время советским. Ленинград дал пример того, как бьется русский за землю отцов и как защищает советский человек родину своих революционных идей, свою новейшую историю. Строгий, дисциплинированный, су-

ховатый, почти педантичный ленинградец в войне против немцев показал себя горячей, кипучей, фантастической натурой. Страсть — вот что обнаружил ленинградец прежде всех своих иных качеств — страсть человека, от природы лишенного способности покориться воле врага. Пройдя огонь испытаний, патриотизм Ленинграда не утратил особой ленинградской окраски, но раскрыл свою природу как одну из самых страстных черт русского характера — готовность на любую жертву ради отчизны...

Мое свидание с Ленинградом подходило к концу, и я был рад, что в последний день пребывания там встретился с человеком, которого я мог бы назвать настоящим ленинградцем.

Это была молодая женщина, главный хранитель Петергофских дворцов-музеев. Чуть-чуть посмеиваясь над собою и одновременно с пылким порывом она рассказала мне о своем первом посещении Петергофа, после того, как оттуда были изгнаны немцы.

Сначала ее никто не хотел брать туда, где только-что было поле кровавого боя, — зачем? Кому охота брать на себя ответ-

ственность за какую-то судьбу, когда в военном деле за каждый шаг спрашивают ответа? Но, в конце концов, упорной, не отступающей ни перед чем женщине удается уговорить каких-то офицеров, что именно ей необходимо раньше всех приехать в Новый Петергоф и немедленно увидеть дворцы, которым она отдавала себя целиком, которые она любила больше, чем собственность, чем близких, чем самое себя. Ей говорят, что машина не пойдет в Петергоф, а направляется в Гатчину, куда отодвинулся фронт. Она отвечает — это по-пути. Ее нельзя переубедить. Она ничего не хочет слышать. Она уже сидит в машине.

Ее довозят до развилки дорог Гатчина — Петергоф. Автомобиль уходит. Она остается одна в необъятном снежном поле, рябом от взрытой снарядами земли. Она оглядывается. Исковерканные грузовики, разбитая пушка, зарядные ящики колесами вверх. Вон лежит убитый немец лицом в грунт. Ветер шевелит отросшими волосами на его шаровидном затылке. Проходит машина, другая, третья — все на Гатчину. В Петергоф не едет никто: это — тыл, оказавшийся в

стороне от главной дороги войны. Вчера он был центром сражения, сегодня он никому не нужен. Женщина идет пешком, считая убитых немцев. Внезапно позади нее раздается грохот. Она видит — мчится танк. Она останавливает его, подняв руки. Танкист, выглянув из люка, долго не может понять, что ей нужно. Неужели эта одержимая и правда надеется найти следы своего музея? Потом он говорит, что ему не по-пути, он сейчас свернет в сторону. «А, впрочем, — залезай на танк!». Женщина взбирается на холодный, ледяной горб чудовища и, обняв замерзшими руками ствол орудия, трясется по рытвинам дорожной обочины. Этому счастью скоро приходит конец: танк сворачивает на проселок, танкист машет из люка черной кожаной рукавицей. «До свиданья, смешная женщина, давай бог разыскать тебе твой музей!» Женщина идет пешком. Она уже перестала вести счет убитым, она не глядит на них. Непременно дойти засветло — вот ее цель. Ей везет: лошаденка, запряженная в сани, бойко выезжает из-за обгорелых домов поселка. Но надежда рушится так же быстро, как возникает:

кучер, конечно, подвез бы женщину, но сани идут не в ту сторону, — это остатки имущества полевого госпиталя, который догоняет фронт. Надо маршировать дальше, обходя воронки, перелезая через траншеи.

— Эй-э! — кричит ей кучер. — А насчет мин соображаете? Тут кругом минные поля.

Она просто не думала о каких-то минных полях, она идет напрямик. Не возвращаться же назад, когда она уже отшагала километров двенадцать и впереди чернеет длинная прямая полоса петергофского парка.

И вот она у цели. Она стоит на площади перед Большим Петергофским дворцом. Она смотрит на дворец. Нет, это неверно: она стоит, закрыв лицо ладонями. Ветер бьет ее, поземка крутится вокруг ее ног. Она покачивается, не сходя с места. Потом, когда она отрывает от лица застывшие мокрые пальцы, она уже чувствует себя другим человеком. Все, что она знала о своем Петергофе, существовало только в ее памяти. Перед ней лежали руины, из которых возвышались стены, напоминавшие что-то знакомое.

Что можно сделать из этих дорогих камней? Что еще сохранилось в этих свалках щебня?

Она бежит по парку в Нижний сад. Всюду она встречает разрушения — в голландских домиках Петра — Марли и Монплеизир, в Эрмитаже и на месте бывших фонтанов. Все кажется ей сном и, как во сне, все начинает исчезать в темноте зимнего вечера.

Она не узнает парка: дорожки и аллеи под снегом, деревья обезличены ночью. Только теперь усталость сковывает ее по рукам и ногам. Она насилу тащится глубокими сугробами, помня одно — что надо идти в гору. И вдруг она слышит голоса из-под земли.

— Да, представьте, — смеется эта жепщина, дойдя до неожиданного поворота рассказа, — представьте мое состояние: я — в снегу по колени, кругом тьма, я боюсь шагнуть, потому что уже понимаю, что меня хранит чудо, и в этот миг под землей раздаются голоса. Я осмотрелась, вижу — светится щель. Подошла. Оказывается — землянка, блиндаж. И оттуда несется самый что ни на есть морской разговор. Я так обрадовалась! Отворила

дверь. Четверо балтийских матросов, на корточках, вокруг коптилки режутся в карты. Ну, конечно, вскочили они, видят — женщина. Проверили документы, разговорились. «Как же, — спрашивают, — вы уцелели, парк ведь не разминирован». — «А почему я знаю, как уцелела? Ведь, вот, разве я могла знать, что встречу наших балтийцев за картами?» — «Мы, — говорят, — из охранения сменились и вот отдыхаем». — «Ах, вы из охранения?» Подседа я с ними к коптилке и начала им рассказывать, как было в Петергофе до войны, какое преступление совершили немцы, уничтожив наши памятники, и каким будет Петергоф, когда мы его восстановим.

— Восстановим? — перебил я.

— А вы думаете — нет? — воскликнула она. — Матросы ни на минуту не усомнились, что восстановим. Мы целую ночь проговорили с ними — как лучше взяться за восстановление. И, знаете, они теперь мои самые верные помощники по охране дворцов. Они собирают в парке всякие пустяки, осколки, обломки...

— Вот такие осколки? — опять перебил я ее, взяв со стола кусок позолочен-

ной деревянной резьбы, который я подобрал в развалинах Екатерининского дворца в Пушкине.

Взглянув на меня испытующе и помолчав, она выговорила притихшим голосом:

— Самые вредные для нас, музейных работников, люди — это туристы. Зачем вы увезли обломок? На таких кусочках мы будем строить всю работу по реставрации. Я внушаю это сейчас всем и каждому. Мы, как пчелы, соберем наши дворцы из пыли. Мы возродим их из праха.

— Как только начнутся восстановительные работы, — сказал я, — я пошлю этот осколок, по месту принадлежности, завернув его в вату.

Она опять поглядела на меня, точно испытывая — не шучу ли я, потом улыбнулась, поняв, что уколола меня словом «туристы».

— Мы немедленно возьмемся за восстановление. Конечно, это будет не легко. Но вот я вам даю слово, что мы восстановим наш Петергоф так, что там не останется даже духа немецкого пребывания!..

Я пожал ей руку с восхищением и благодарностью. Я был убежден, что она дает слово не напрасно. Верность слову составляет нераздельную часть ленинградского патриотизма.

ЛМ 950У

1945 г.

Акт № 785

Вкладн. л.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Партизаны на Невском проспекте	3
Живые стены	14
Во времена блокады	23
Рассказ о дворце	33
День немца в Гатчине	42
Ленинградская натура	51

Отделение Воениздата НКО
при Ленинградском фронте
Редактор *полковник В. Цветков*
Технический редактор *Г. Коротков*
Корректор *О. Ладышкина*

Г11676. Подп. к печати 27.IV.1945 г. Печ. л. 2^{8/16}. Зак. 2223
2-я типография Воениздата НКО имени К. Ворошилова

2 руб.

7772

Λ30 $\frac{\Gamma-O}{78}$ a